

ИЗ ПИСЕМ К СЫНУ:

Здравствуй, Андрей!
Что это ты об одиночестве заговорил? Ты не волнуешься, у меня тут работы — не продохнуть. Это я так философствую.

Когда я говорю — одиночество, я имею в виду, что я что-то делаю, а меня не понимают, тогда я один. А потом, мне казалось, что я вырос на сцене обид как-то. Так мне казалось. Вроде бы все нормально, а у меня такое ощущение есть: была обидка — а ее проглотил, была обидка — а ее съел.

Понятие одиночества — сложное. Ты, помню, мне однажды одиноком показался. Лето было, Ванда отдыхала где-то, ты, Андрюшка, маленький был, у бабушки оставался, в Давыдовое, а у меня гастроли в Горьком. Вызывает меня на съемки в Ленинград на один день. Снимаюсь, получаю билет на самолет до Москвы и вижу, остается немножко времени до отхода поезда из Москвы в Горький, могу успеть к тебе — самолет из Ленинграда прибывает в Шереметьево, а от Шереметьева 50 км до Давыдовки. Накупила изрушек, какую-то грузовую машину огромную. С самолета бегом, схватила полутку, еду, откровенно калитку, никого не видно, ехожу в дом — стоит мой пацан, маленький такой, что-то возит. Я говорю: «Сынок!» (все происходит в спешке — не опоздать бы на поезд). А ты остановился, посмотрел на меня — и продолжал заниматься своим делом. Мне не то что обидно было, что ты отвернулся, не узнал, но мне показалось, что ты одинокий какой-то. Я был всего 15 минут, поцеловал тебя и бабушку и в путь. Шел дождь.

Я вышел, темно, и думаю: «Я срываю спектакль в Горьком, не успеваю». Я голосую — никто не сажает, никто не узнает — темно в деревне. А потом едет «Победа», два остановилась. Ехали мама и сын, они перевернулись около Кашинки, перевернулись. И водитель говорит: «Я за полчаса часа везу до Москвы». Я говорю: «Хоть как-то может быть, я переживу». Едем, едем — я чувствую, не успеваю, срываю спектакль, а я в жизни никогда этого не делал, из-за меня не отмечали спектакли (болел я, с воспалением легких играл, падал на сцене, камфору екаляжили на спектакле. Однажды в Ленинграде «Дни Турбинных» с температурой сорок играл). Водитель понял, что я в отчаянии, спрашивает: «Когда поезд?» Домчались мы. И вот я в поезде всю ночь почти стоял у окна и виделась мне маленькая одинокая фигурка. Так что, дружок, если ты тогда одиночества не ощутил, я его за тебя хватил сполна.

Звони, не забывай.
Отец.
К телефону он сам подошел.
— Евгений Павлович, это из еженедельника «Семья»...

— Да, я читаю вашу газету... Знаете, я сейчас уезжаю в санаторий, врачи настаивают. Буду жив, через десять дней позвоните.

— Ступай, ступай...
— Евгений Павлович, помните, я вам звонил из «Семьи»...
— Ура!
— Вы не сможете в каком-то ближайшем будущем со мной встретиться?
— А вы сейчас можете ко мне приехать?..

Вот я и дома у Леонова. Мы все знаем о его болезни. На гастролях в ФРГ прошлым летом с ним случился тяжелейший инфаркт. Через несколько дней — второй. Десятьнадеять суток без сознания. Потом — операция, альтернативы которой просто не было дано. С того времени минуло полгода. Он изменился. Внешне? Да нет, не изменился. Хотя в первые месяцы похудел на двадцать с лишним килограммов, но сейчас набрал веский прежний, «винни-пуховский» вес... Глаза у Леонова стали другие. Вот он смотрит на меня очень внимательно, печально, ничем не подчеркивая то, что он меня слушает, слышит — ни кивком, ни улыбкой, ни каким-нибудь «угу» или «да-да-да...» Я ему говорю о том, что мол, все это творчество — об отношениях отца и детей, об отцовстве, таком редком — ныне явлении и наоборот, будь то семья или общество: я напоминаю: Шибалок в «Донской повести» по Шолохову, «Дети Ванюшина» и «Воры» в театре, «Старший сын», телефильм по Вампилову... а потом, вдобавок, он написал книгу «Письма к сыну». И все это очень важно, и хочется услышать от него самого что-нибудь обо всем этом...

Леонов все так же печально смотрит на меня, и, когда я умоляю, спрашивает:
— Так что мы будем делать?
— Евгений Павлович, я жду ваших сообщений на этот счет...
— Вы знаете, лучше если б вы мне задавали конкретные вопросы, а я бы, не теоретизируя, вам на них отвечал... Потому что все это очень масштабно, глобально, громко... Мы вообще как-то очень громко живем. Наши проблемы так серьезные, что их храпляют, как говорится, не возмещать. Нужно большое терпение, а терпение связано с особенным настроением в твоей душе, в твоём сердце...

ИЗ ПИСЕМ К СЫНУ:
...Когда Юлий Гагарин вернулся на Землю и его показывали идущим по дорожке... Я был тогда в Ленинграде на съемках, а в гостинице, в своем номере, один, я смотрел на экран телевизора, как и все, и мне казалось, что весь мир парализован в тишину, замер и теперь вот, как и я, слушает его шаги. Я смотрю...

Евгений ЛЕОНОВ:

ПИСЬМА К СЫНУ и комментарии к ним в беседе с корреспондентом «Семьи» Михаилом Поздняевым.



ред и плакал, от этой тишины перерывалась сердцу — я даже не знаю, а была тогда какая-то звучка по телевизору? По-моему, нет. Это действительно был миз тишины — изумленная планета смотрела на сына Змеи, впервые разорвавшего пути земного притяжения. Я потом все время думал о нем, он мне снится, а, честно тебе скажу, во сне меня иногда охватывал страх: а вдруг он будет все время так крутиться и никогда не вернется... И вот он идет по дорожке и улыбается...
Тишина — это какое-то особое состояние мира и человеческой души. Мне кажется, мы себя чувствуем частичкой природы, каплей океана в тишине только. Вне тишины нельзя понять красоту.

Тишина — это жизнь, все великое совершается в тишине. Тишина — это уважение людей друг к другу, это нежность и любовь. Как я люблю дома, где говорят тихо, где даже кто-то не кричит без причин!..
— А каким был дом вашего детства?
— У меня была хорошая семья, трудовая, простая, но артистичная в каком-то душевном, а не в профессиональном смысле. Вы меня просите об отцовском чувстве порассуждать, но ведь самое главное в понятии отцовство — не обязательное должно конкретное воплощение в ситуации: мужчина, муж, глава семьи, весь дом у него в кулаке... Наш дом, честно говоря, держался не на папе, а на маме. Просто потому, что папа много работал, а мама вела хозяйство, воспитывала нас с братом. Я вообще похож на маму, и родственники про меня говорят: «Он в Ниюру, она тоже была актрисой».

В доме всегда кто-то был, ночевал, жил — спали впопалку на полу в маленьких наших двух комнатах. Я навсегда запомнил эти людные часики — иной раз пришел домой и не поймешь: кто это у нас за столон. И есть особо нечего, чай да сахар, но идут хорошие, душевные разговоры, и все — о жизни. Наша многочисленная родня и ехала к нам больше поговорить, поделиться, посоветоваться, поплакаться... Если во мне есть что доброе и если мне удается в моих ролях выразить добрые чувства — это все из-за того стола, из тех разговоров. А душой стола была опять же моя мама.

— Евгений Павлович, а чем отличаются тогдашние отношения родителей и их детей от нынешних? Что-то ведь явно утрачено. Я думаю об этом потому, что сам рос в старой московской коммуналке, с нею так много связано, сегодня воспоминания о ней окрашены в романтичные тона, но одновременно мы переосмыслием и эпоху, и лозунги, да и коммуналки, выясняется, не такое уж благо...

Сегодня, наверное, главное в нашей с вами жизни — большое число инний, суждений, оценок. Мы этому радуемся, потому что слово «люди» во всех смыслах лучше, чем слово «толпа». Но вместе с тем мы страшно разобщены, разделены всякими предрассудками, идеями, пристрастиями... В нашем доме все было общее. И это было также приметой времени. Это единение наложилось на моих современников какую-то печать. Мы вместе с родителями разделили все, что им выпало на веку. Началась война — мы все работали на одном заводе (отца с небольшой частью его завода не эвакуировали из Москвы). Понятно ведь, что во всем этом мало хорошего: голод, недосыпание, усталость. Но вот и беда людей сплывала. Да, у нас все было общее. Одно на всех, понимаете? Только не надо нам об этом кричать. Может, мы сегодня и разобщены-то потому, что слишком долго кричали, какие мы сплоченные... Наша жизнь была трудная. И мы наделали много правдыми соучастниками вранья, лицемерия, хвастовства. И мы, как и родители, были готовы терпеть буквально все. Хорошо ли были терпеливы? Конечно, хорошо. Но ведь беспредельное терпение чревато рабством. Не надо бы нам бить себя в грудь: «Вот мы! Вот в наше время!» — лучше промолчать. То, что мы испытывали, не означает, что мы достойны продолжения и повторения наших судеб молодыми... У них — свои победы и беды. Вот мы по-другому стали говорить про Афганистан — не то что про БАМ. Даже какие-то песенки ерические по телевизору звучат. Это, по-моему, зря. Все-таки ребята в Афганистане вели себя как герои, на БАМе трудились на совесть — что же, теперь все это зачеркивать? Мне очень нравится наше время, я верю в пользу гласности. Я знаю, сколько в мире зла. Но я знаю, что подавляющее большинство людей добры и хороши по своей природе. И им надо помогать. Их нельзя оскорблять. Надо понять вот что. Мы сами плодим зло. Носители зла вне нас не бывает. Мы их возносим, выделяем из своих рядов, тех, кто нас убивает, унижает, ломает нас в школе и дома, не пропуская наши фильмы, спектакли, книги, разоблачат нас. Мы из своих рядов, голоса единогласно, выбираем командиров, которые сразу же начинают нас топтать. Это все как-то угнетало нас. Оно и сегодня теплится, хотя, конечно, все осины и змеины гнезда разворваны. Мы с вами все обвиняем, обвиняем, а нам бы наконец повиниться. Проблема парабония человеческой личности и противостояния человека насилению! Разве эта

и общество. Главное — как ты открыт людям. Мы всю жизнь боялись, вот и стали, как собаки, лаять, рычать, рычать...
— Мне очень жаль, что и критики, и зрители прочли мимо вашей работы в фильме Даниила «Слезы капала». Вам удалось рассказать о том, как хрупок человек и как он открыт всему — и добру, и гадкому, сверному, что есть в мире. Три года назад, почти одновременно, два замечательных талантливых и честных человека, академики Лихачев и кинорежиссер Абуладзе, произнесли слова по-а-я-ие. Меня лично потрясла ярмота названиями имя того, что должно быть для всех нас сегодня первым делом, первым делом. Но не меньше потрясло и то, с какой агрессивностью, с каким паросом то один, то другой писатель, режиссер, художник в ответ на выстраданное собратями главное слово принялся выкрикивать: «Ну пусть они и каются! А мне лично виниться не в чем!» Вот так... Будто не прошло двух тысячелетий после того, как некто Пилат демонстративно умыл руки!

— Мне на память в связи с тем, что вы говорите, пришла сейчас другая моя работа — более ранняя, в театре имени Станиславского. Когда Борис Львов-Анохин предложил мне сыграть царя Креона в пьесе Жана Ануя «Антигона», я не отказался и поначалу об этом даже жалел! столько вокруг и наверху было разговоров! «Леонов в интеллектуальной драме! В трагической роли! Что он со своим амплуа «простака» сможет сказать о злодеев?» И как же я благодарен режиссеру за его выбор и за его упорство в этом выборе... Меня охватило страстное желание работать. Меня давали стали раздражать бесконечные разговоры об эстетике, стилистике, специфике. Мне хотелось сказать: да бросьте вы все это, они же тоже люди, давайте попытаемся их понять, примерить их поступки на себя... «Антигона» была написана и поставлена в оккупированном фашистами Париже, и античный миф об Антигоне, которая перел лицом смерти не отказалась от своего долга похоронить брата, был отчасти прикритием от цензуры. Ясно, дело тут не в античности, а в том, что наши по сути современные люди, столкнувшиеся со звериным ликом фашизма, решали для себя те же проблемы — проблемы чести и долга, жизни и смерти. Почему же спустя еще полвека мы уже не можем войти в обстоятельства этих людей, пережить их беду вновь, а должны представлять страдания и подвиги в виде изысканного интеллектуального ребуса? Какая проблема, собственно, интересовала автора? Проблема парабония человеческой личности и противостояния человека насилению! Разве эта

ПОЧЕМУ ТАК ВАМ НЕ ДОБРЫЕ? ЧТО МЫ САМИ ПЛОДИМ ЗЛО...

проблема снята в современном мире, стала для нас исторической хроникой? Да ничуть. Каждый день мы должны защищать себя, свою личность от тысячи посятательств, глобальных — угрозы войны и мелкого мерзкого чинопочитания, проникшего во все почти учреждения и организации...
На одной из репетиций я сказал режиссеру, что пока мы с Антигоной не выясним полностью наши отношения и чувства друг к другу, мы с места не сдвинемся. Я предложил забыть имена Креона и Антигоны, оставить в покое стилистику Ануя и обратиться к той психологической ситуации, которая заложена в произведении. «Я буду дядя Федя», — сказал я. — Она Лиза. Вот когда мы разберемся, что происходит, мы скажем: «Креон», «Антигона», и все будет в порядке. А пока надо заставить эту молодую девочку жить, любить, рожать детей, ведь ее любит мой сын Гемон. Она хочет умереть, потому что думает: компромисс — это подлость, а я ей встолкую, что компромисс — это разумное понимание жизни...»

— Евгений Павлович, я вспомнил сейчас штуку времен застоя: «Будем бороться за мир, пока камня на камне не оставим». Энергия доброты — как она должна проявляться? Одни искренне убеждены: добро должно быть с кулаками. Другие — что добро всегда жертвенно, и высшим явлением и доказательством бессмертия добра как Истину является мученичество. По-моему, это разумное понимание жизни...
— Но доброта ведь тоже не однозначна. Вчера звонит актриса и просит о сыне, который должен пройти медкомиссию для поступления в институт. А сегодня звонок из отдела кадров: «Вы ходили насчет ее сына, не можете ли сходить по поводу моей дочери?» Я скажу, что занят, не могу отменить съему... Доброта это же не просто крик — «Кому нужна моя помощь?» Так не бывает. Зато бывало и так: сделаешь что-то доброе, а обернется бог знает чем. И потом думаешь: и зачем я это сделал? Не надо было, не надо было... Если видишь человека в будущем обязан помочь, как бы в будущем участвовать, потому что вообще все люди, каждый человек должен достичь в жизни максимум, то есть реализовать свои возможности полностью. Это, я считаю, наша общая забота. Понимаешь, есть доброта, которую можно назвать выпрени — гуманизм, а есть доброта, которая соединяется с безразличием, душевной ленью. Ведь помочь человеку — это значит взять на себя ответственность перед кем-то за него, это ведь не просто помет, позволения и к вечеру забыл. Это, конечно, такие люди, которые всех «рошенкиными» называют, а на самом деле имени не запоминают. Я этого не терплю.

Добротельность может быть свойством души, а может быть хорошими манерами — и в этом не сразу разберешься. К сожалению, это не очень заметно. Но если с человеком прожизне какое-то время, становится понятно. Были в моей жизни такие случаи, когда добрые дела не замечали люди, но чаще — ценили...
— Евгений Павлович, все, о чем вы говорите, то, что вы пишете сыну, — все это мне близко и вызывает во мне согласие. Но жестокость нашего мира, хотя мы к ней и привыкли и, увы, приспособились, каждый день нас потрясает снова и снова. Впрочем, еще семидесят лет назад великий мыслитель Павел Флоренский сказал, что в нашем мире нет другого пути для утверждения добра, кроме крестного, смертного. Он и погиб в лагере. Сегодня столетие со дня его рождения отмечает весь мир, а для тех, кто уничтожил его, он был не гениальным ученым и философом — он был поп, враг народа... Поневолле сегодня сжимаются кулаки — и думаешь: не прекращающие ли виной тому, что добро в XX веке столь часто приносило себя в жертву...

— А по-моему, в нас просто мало доброты. Мы даем волю эмоциям, волю рукам, а доброта в нас томится, не имеет выхода. И мы не томимся жадной по этой доброте...
— Солженицын очень точ о сказал: для нас убедительнее правота силы, нежели сила правоты...
— Вот-вот, мы перестали верить во все-силе правоты, все-силе доброты. Сколько прекрасных, поистине добрых произведений искусства ждали встречи с нами десять, двадцать, сорок лет! Вот недавно напечатан роман австралийского писателя Нэвила Шота «Крысылов» — а вы читали его еще в рукописи, мне ее дала переводчица книги Нора Галь. Сюжет в самом деле перекликается со средневековой легендой: крысы в городе — фашисты в Европе. Но герой романа, старик Хуард, не крыс из города выманивает — он пытается вывести из Англии в Штаты маленьких детей. Самый разный национальностей — и англичан, и француз, и еврей. И даже маленькую немку, которую ему поручил один гестаповец... Сам уже не верящий в торжество своих идей... Я думаю: ведь кому-то очень не хотелось, чтобы эту книгу у нас прочитали. Кому-то

очень не хочется, чтобы у нас шел прекрасный фильм Боба Фосса «Кабаре»...
Мы патологически боимся добра и на каждом шагу потакаем злу. Даже сегодня, когда это видно всем, но с тем большей настойчивостью...
Я очень горюч моей болезнью. Клиническая смерть случилась в июле. А в сентябре мы должны были играть премьеру — «Поминальная молитва» по «Тевье-молочнику» Шолом-Алейхеми. Шолом-Алейхем очень добрый писатель. И на то, что произошло с молочником Тевье, он посмотрел шире, чем на историю местечкового Лира, страдающего из-за дочерей. Это разговор о том, что есть народ, что есть национальность и что есть человек.

— Как я понимаю, зная гражданское неспокойствие вашего режиссера Марка Захарова, спектакль не просто так возник? Ведь все это — самая острая тема нашего нынешнего бытия. Есть ли в спектакле тема отцовства в политическом смысле — ответственности государства за мир в своем доме, между своими, такими разными детьми?
— Да вы знаете, пожадуй, все-таки нет...
— С чьей стороны начинается?
— С человека. Мы нарочно уходили от конкретизации — даже от подчеркнутых «еврейства» Тевье. Я постепенно буду «влезать» в роль. Выйду на сцену в своих джинсах и свитере и от себя скажу, что вот хороший был писатель. Написал завещание: помру — придите на могилку, если вам вера ваша позволит... Некоторые говорят: искусство — Храм. Я так никогда не говорил. Но иногда хочется прямо вот здесь, на сцене, стать на колени и сказать: «Господи! Я к тебе никогда не обращался и не знаю, можешь ли ты меня услышать. Но сегодня мне так хочется, чтобы ты меня услышал... Помоги нам всем...»

Помоги нам! Услышь нас! А услышать нас, по-моему, нужно. Мы народ хороший, добрый, терпеливый. Раскашавшийся немощно, растерявший кое-что. Но сами и выволаты...

Вот и Шолом-Алейхеми практически не печатали, не ставили. А это великая литература, великий гуманизм. Кто-то думал: Шолом-Алейхем — еврей, эмигрировавший из России в Америку. Как бы чего не вышло на дипломатическом фронте!...
— Если что надо искоренять в людях, так эту политическую «свихнутость» души. Эвангелия притча. Семья, жившая две тысячи лет назад где-то в окрестностях Иерусалима. Рембрандт пишет своих соотечественников и современников — голландия, XVII век. Но мы и этого не замечаем! Мы думаем о себе и своем этно. Или о себе и своем бедном сыне...
— Вы правы. Надо больше доверять силе любви.

Когда со мной все это случилось, сын был со мной, и счастье, вместе, на гастролях. Театр переехал в Мюнхен, а мы остались в Гамбурге. Он был все время со мной, мой мальчик. Потом прилетела жена. И хирург-универсал сказал: «Разговаривайте с ним. Пойте ему. Он должен чувствовать, что его жизнь зовет...»
— А что он вам пел?
— Я не знаю — это их надо спросить. Но жена говорит, что я, как младенец, чмокал губами, даже улыбался. Вот так они звали меня обратно... Врачи говорят: мой случай — редчайший, один случай на тысячу или на десять тысяч. Когда я пришел в себя, я задумался: «Как же так? Ведь я по-моему должен был умереть». Наверное, кто-то очень здорово за меня помолится!...
— Простите, но то, что они делили, в общем-то, и было своеобразной молитвой.
— Кто — немцы?
— Ваши ближние.

— Выходит, что так... Да, пожалуй. Ведь любовь поступками проверяется, силой веры в добрые дела. И я это испытал. Мне в жизни очень везло на добрых людей, на добро. Но тут я впервые серьезно призадумался. От очень многого мы отказываемся, когда беда приходит. Свое — отступает, усиливается общечеловеческое...
Я рад, что у нас созданы благотворительные организации — вот и Детский фонд, и ваша газета. Это полезно. Армения показала, как это полезно. Меня, правда, беспокоит, что опять все сводится к деньгам. Мы все задирились на рубле. Появились кооператоры — ну, поддержи их, они ведь начинают на пустом месте, они тебя наорывают, оденут, не сразу, но все-таки скорее, чем государство... Нет же, как мы на них бросаемся! Не что человек нам даст —

суть наших переживаний, а сколько он зарабатывает...
Когда с Арменией стряслось такое горе, нас ведь взволновало — не то, сколько нам чего со всего мира прислали, а то, сколько добрых людей нас окружает. А у себя по старинке все измеряем рублем, поэтому, я думаю, у наших благотворительных организаций столько трудностей. Все кругом их деньги считают. А надо больше доверять людям, дать им волю творить добро, а не превращать опять все в акции, в мероприятия. Очень важно об этом говорить — иначе все пойдет прахом...

Деньги всегда найдутся. Бог с ними, с деньгами. Главное — то, что уют, настойчиво зовет к доброте, к переосмыслению твоего существования здесь. Нам ведь всем свойственно общечеловеческое, правда?..

Евгений Павлович впервые за наш разговор улыбнулся. И у меня немножко от сердца отлегло.
— Ну и когда мы увидим вашего Тевье?
— Да вот, видите, врачи пока не разрешают, говорят, еще рано... Мы были очень близки к чему-то интересному, а тут такое... Я днем и ночью думаю о Тевье. Сумею ли я? Там ведь надо кричать, петь, плясать, плакать, хохотать, рвать волосы от горя... Христя? Как он тебя назвал — Христа? У меня нет такой дочки! У меня была дочка Хава. Хорошая девочка была. Любил я ее больше всего на свете... Не смей говорить мне «папа!» У тебя теперь папа — русский батюшка... Доченька моя... Понимаете? Там и смерть, и две свадьбы — еврейская и православная. Все время звучат, то порознь, то сплетаясь, музыка и еврейские песнопения... Трудный спектакль. И интересный может быть спектакль. Поэтому...

И Леонов, снова улынувшись такой знакомой, знаменитой, всенародно любимой, такой счастливой улыбкой, заканчивает:
— Поэтому мы хотели бы помереть раньше времени.

— Нам тоже. Будем ждать.

ИЗ ПИСЕМ К СЫНУ:

...Однажды, это было очень давно (я только начал заниматься в театральном училище) все мне нравилось, я тогда был счастливым, произошла такая встреча. Я думаю, что это был новобранец: парни, мои соседи, и смеялись, и веселились — так было прекрасно — и стихи читали, и выпили немножко. А потом мы шли по улице. Идея Горелки и я, мы с ним дружили тогда. Идем, разговариваем. И возле Большого театра — какие-то парни, но очень трезвые... Один поблизил, парнища закурил, посмотрел на меня пьяными глазами и сказал: «Пиджачок на тебе перевернутый». Это действительно был пиджак, перевернутый с брата на меня. Потом он размахнулся и ударил меня по щеке. Я хотел его тут же убит, и вдруг меня остановила мысль... Я даже сам не знаю, это называется страхом, бесствием или беспомощностью. Этот случай я вспоминаю всю свою сознательную жизнь и думаю: почему я его не ударил? У меня была бутылка вина в кармане. Я все полюбилю аомню, и сейчас немножко краснею, вспоминая это... И мне хотелось ударить бутылкой, но меня остановила мысль, что я его убью сейчас, потому что бутылка-то расколется... Мы это долго обсуждали с Горелкиным, мы пошли к нему, он жил на Стрелке, и никак не могли успокоиться.

Сердце замирает не только тогда, когда тебе ударят, а ты не отвечаешь, сердце замирает, когда вдруг чувствуешь, что ты не можешь чего-то сделать. Часто в моей жизни бывает и сейчас, хотя я взрослый человек, когда захватит сердце от страха, что не существует этого сделать, выпрыгнуть...

Как-то поехали мы отдыхать после гастролей — несколько актеров театра Станиславского. Как раз в Вильнюсе это было, даже не помню, в каком году. Но помню место, метра десять высотой, и как все взялось надо мной подшумывать: «А ты не прыгнешь с этого моста». — Я вздохнул: «Может, и прыгну». — Тут они и вовсе развеселились: «Хлестун, хлестун!» Я залез на перила — это было невпопад, как страшно, — но я прыгнул вниз. Я себе отбил что-то и никому не показывая никак стрях, ситуация, когда — ах! И в «Полосатом ретиве», когда меня взорвали, они смеялись с этим тиром — страх тоже. Страх — это еще не слабость. Вот если страх заставляет тебя отступить, если ты бережешь свои силы и в результате уменьшаешь сам — это слабость. Придай жел Синяк до свадьбы заживет. Твой отец, Фото И. Филка